

# Царь в голове СУЕТА ВОКРУГ ИВАНА ГРОЗНОГО В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

Сергей Холнев



Парсуна «Иван Грозный», конец XVI века



«Царь Иван Васильевич Грозный». Рисунок из книги «Портреты, гербы и печати Большой Государственной книги», 1672 год



Марк Антокольский. «Иван Грозный», 1875 год. Мрамор



Николай Черкасов в роли Ивана Грозного в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944 год

Илья Репин. «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», 1885 год. Холст, масло



Федор Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере Николая Римского-Корсакова «Псковитянка», 1896 год

**СПОРЫ** о первом русском царе — это наш национальный вид спорта. Заметьте, в любом непрофессиональном контексте, до какого бы градуса ни доходили страсти, эти споры совершенно нерезультативны, просто потому, что все известно наперед. Иван Грозный был кровавый деспот, скажут одни. Но есть другие, кто скажет, что это неправда, что Иван Грозный завоевал Казань и вообще боролся за сильное государство. Ритуализовано, в сущности, даже то, как обе стороны снисходительно объясняют взгляды друг друга: «Ну все понятно, русский человек тоскует по сильной руке» или «Все понятно, где им понять трагизм и величие царя, который ведь сделал столько хорошего». И все, пат. Когда пререкаются о Сталине, это еще имеет хоть какой-то оттенок понятности, но когда опознавательным знаком политических воззрений становится отношение к правителю, умершему 400 с лишним лет назад, это как-то странно. Испанцы не ссорятся по поводу своего Филиппа II, рядовые англичане, похоже, тоже не считают, что в обсуждении кого бы то ни было из последних Тюдоров есть что-то провоцирующее на неприличное лаение. И я уж не говорю о группках, настаивающих на том, что Ивана Грозного непременно надо канонизировать вопреки всем мыслимым очевидностям. Не то чтобы всегда прежде Иоанн IV казался очевидной фигурой. Например, Михаил Херасков, сочинивший о взятии Казани эпическую поэму «Россиада», несколько затруднялся контрастом между светлым образом «раннего» Ивана Грозного и его последующими злодеяниями. Выход поэт нашел простой: походя обвинить в сочинении «нелепых басен о его суровости» вредных иностранцев и оставить «ужасные повествования, до пылкого нрава его относящиеся» на рассуждение историков. Чуть позже Карамзин, более интересующийся правдой душевных движений, недоумевал в своей «Истории»,

как «государь любимый, обожаемый мог с такой высоты блага, счастья, славы низвергнуться в бездну ужасов тиранства?» — и переходил от этого изумления к тому, чтобы «представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях».

Та нехитрая истина, что с правителями случаются разные феномены, кажется, должна была быть коротко знакома людям пушкинского времени, знавшим «дней Александровых прекрасное начало» и их не самое прекрасное окончание. И знавшим Светония, рассказывающего о том, как ликующие толпы встречали юного Калигулу, «называя и светиком, и голубчиком, и куколкой, и дитятком», — и что потом из этой куколочки получилось. Самое занятное, что через несколько десятилетий, когда наша историческая наука пришла в возраст, суждения об Иоанне Грозном приобрели нормальную человеческую тональность — без ретуши, без передергиваний, без этих «увы и ах»; был, мол, такой правитель, хорошего сделал то-то, плохого — то-то и то-то, давайте рассмотрим некоторые общественно-экономические нюансы. Да и художественная литература следом тоже не выказывала никаких подозрений, что в случае Ивана IV она имеет дело с непонятым по сложности натуры национальным героем.

Самое печальное, что если брать царствование Ивана Грозного не как публицистическую, а как научную проблему, то на многие вопросы полных и окончательных ответов действительно нет — документов не хватает, вечная наша беда. Мы знаем, как выглядели опричники, мы знаем, какой у царя был обычный режим дня в Александровой слободе, но можем только гадательно рассуждать о том, для чего царь вообще затеял опричнину, на что он рассчитывал и какой пользы ждал. Или для чего устроил «второе издание» опричнины, посадив на свой трон татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Но

есть, конечно, вещи однозначные. Ни о каком благотворительном укреплении государства речи быть не может, если через 20 лет после смерти благодетеля это порядком истощенное государство превратилось в хаос. Жданов, по воспоминаниям Эйзенштейна, корил режиссера за то, что царь у него выведен невзрачным, вряд ли зная, что писания царя действительно производят впечатление работы человека поразительно образованного и талантливого, но злого, невротичного, обиженного на весь белый свет и путаного — над чем издевался еще князь Курбский, ставивший царю на вид, что у него все густо уснащено цитатами из Писания, житий, хронографов и святых отцов и «туго же о постелях, о телогреях и иные бесчисленные воистину яко бы неистовых баб басни».

По большому счету тем, что грозный царь превратился из фигуры с отстоявшейся репутацией в предмет для спекуляций («имя России»? не «имя России»?..), мы обязаны сталинскому времени. Известен случай историка, который написал в 1930-х монографию о древнеримских восстаниях рабов и завершил ее (как велела вроде бы несомненная догма) словами в том духе, что подлинной революцией эти восстания, уж конечно, быть не могли. И надо же было случиться, что в момент печатания книги корифей всех наук возьми да и скажи на съезде колхозников, что это «революция рабов опрокинула рабовладельческий Рим», — и работники типографии вынуждены были, седея от страха, спешно выдирать последнюю страницу книги по всему тиражу. Ну вот и с Иваном Грозным произошла та же в общем-то случайность: вождю что-то померещилось приятное в образе царя, и по первому намеку и идеология, и наука (что самое печальное) принялись раздувать малосимпатичного самодержца в прогрессивного государственного деятеля. С большим кинематографическим потенциалом в придачу.